

# ЛЕСЛИ ПОУЛЗ ХАРТЛИ

...Очерствевшее, не знающее любви сердце —  
вот самое страшное проклятие.



# ПОСРЕДНИК

Истинные ценности

Лесли Поулс Хартли

**Посредник**

«Издательство АСТ»

1953

УДК 821.111-31  
ББК 84(4Вел)-44

**Хартли Л.**

Посредник / Л. Хартли — «Издательство АСТ»,  
1953 — (Истинные ценности)

ISBN 978-5-17-112767-1

Тринадцатилетний Лео проводит летние каникулы в роскошном имении, снятом для отдыха семьей его школьного друга, и робко, возвышенно, совершенно по-мальчишески влюбляется в старшую сестру этого друга Мариан. Однако эта уже помолвленная великосветская красавица, заметив его чувства, принимается хладнокровно и спокойно использовать Лео для передачи писем своему тайному возлюбленному – простому молодому фермеру. Постепенно ситуация накаляется. И на плечи обычного школьника ложится непосильный груз ответственности за запутанный клубок непонятных ему отношений сразу нескольких людей...

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-112767-1

© Хартли Л., 1953  
© Издательство АСТ, 1953

# Содержание

Пролог	6
Глава 1	15
Глава 2	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

# Лесли Поулс Хартли Посредник

**L.P. Hartley**  
**THE GO-BETWEEN**

© The Estate of L. P. Hartley, 1953

© Перевод. М. Загот, 2021

© Издание на русском языке AST Publishers, 2021

\* \* \*

*Сын праха! Аромат цветочный,  
Синь неба, ветер в камышах  
Вели к беседкам в сад полночный,  
Где слышался твой дерзкий шаг.*

*Эмили Бронте<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Перевод Н. Эристави.

## Пролог

Прошлое – это другая страна: там все иначе.

Дневник я нашел на дне красной картонной коробки, основательно помятой, в детстве я держал в ней круглые отложные воротнички. Кто-то – скорее всего, мама – убрал в нее мои сокровища тех времен. Два высохших и пустых морских ежа; два ржавых магнита, большой и поменьше, почти совсем потерявшие магнитные свойства; туго скатанный ролик фото-пленки; обломки сургуча; маленький секретный замок с тремя рядами букв; моток очень тонкой бечевки и еще два-три непонятных предмета, о назначении которых можно было лишь догадываться: Бог знает, от чего их отвинтили или отломали. Реликвии не были грязными, не были они и чистыми, просто потемнели от времени; я взял их в руки впервые за пятьдесят лет. Воспоминания едва теплились, как сила притяжения в магнитах, и все-таки они жили – я вспомнил, что значила для меня каждая из этих вещей. Что-то на мгновение вспыхнуло во мне: тайная радость узнавания, почти мистическая дрожь, какая охватывает завладевшего чем-то мальчишку – в шестьдесят с лишним лет от этих чувств стало даже неловко.

Это была переключка наоборот: дети из прошлого выкликали свои имена, а я отвечал: «Здесь». И только дневник не хотел вставать в общий строй.

Кажется, это был подарок, привезенный кем-то из-за границы. Форма, витиеватые буквы, фиолетовая мягкая кожа, чуть загнутая по углам, – вещь явно из чужих краев; обрез позолочен. Из всего, что лежало в коробке, это, пожалуй, была единственная ценная вещь. Наверное, я очень дорожил ею, но почему же тогда не могу вспомнить, что с этим дневником связано?

Просто взять и открыть его? Не хотелось – ведь он бросал вызов моей памяти. Я всегда гордился ею, считал, что она не нуждается в подсказках. И вот я сидел и смотрел на дневник, как смотрят на незаполненные клеточки в кроссворде. Но озарение не приходило, и тогда я взял замок с секретом и стал вертеть его в руках, потому что вдруг вспомнил, как в школе мне всегда удавалось открыть его: каким-то шестым чувством я угадывал комбинацию букв, которую составлял кто-нибудь из одноклассников. Это был один из моих коронных номеров, и в первый раз я даже сорвал аплодисменты, потому что заявил: чтобы открыть замок, мне нужно впасть в транс, ото всего отрешиться. Тут не было лжи, я и вправду изгонял из головы все мысли, а пальцы бегали по замку без всякой системы. Тем не менее для пущего эффекта я закрывал глаза и легонько покачивался взад-вперед, стараясь усыпить сознание, пока не изнурял себя; я обнаружил, что и сейчас словно перед публикой проделываю этот фокус. Не знаю, сколько прошло времени, но вот внутри раздался еле слышный щелчок, и половинки замка разошлись в стороны; в ту же секунду словно и в мозгу моем что-то податливо щелкнуло, молнией вспыхнул секрет дневника.

Но и тогда я не стал трогать его; собственно, нежелание открывать дневник возросло, ибо я вспомнил, почему смотрю на него с опаской. Я отвел взгляд, и мне показалось, что разлагающая сила дневника исходит от всех предметов в комнате, все кругом вопиет о разочаровании, о поражении. Словно этого было мало, меня окружили укоризненные голоса: почему поддался унынию, почему опустил руки? Под этим двойным огнем я сидел и смотрел на разбросанные вокруг пухлые конверты, перевязанные красной тесьмой стопы бумаги, – надумал разбирать их зимними вечерами, и почти первой под руки попала красная картонная коробка; я и жалел себя, и казнил – если бы не этот дневник, не то, что за ним стоит, все могло быть иначе. Я бы не сидел в этой безрадостной и затхлой комнате, где на окнах даже не задернуты занавески и видно, как по стеклу бегут капли холодного дождя; не размышлял бы над реликвиями прошлого и над необходимостью их разобрать. Я бы сидел в другой комнате, окрашенной радугой, и смотрел не в прошлое, а в будущее; и кто-то сидел бы рядом со мной.

Так я подумал и, как обычно, повинаясь воле, а не желанию, вытащил дневник из коробки и раскрыл его.

«Дневник на 1900 год» – эти слова были выведены каллиграфическим почерком, какой сегодня нигде и не встретишь; а вокруг цифр, столь уверенно провозглашавших приход нового столетия, с надеждой теснились знаки Зодиака, и каждый из них сулил полнокровную и радостную жизнь, прекрасную, но в каждом случае прекрасную по-своему. Как же хорошо я помнил их, облик и позу каждого; помнил и другое: какой волшебной силой мы их наделяли – сейчас эта сила на меня уже не действует, – с каким трепетом ждали, когда осуществится обещанное ими; ждали все: и дети из простых семей, и дети с отменной родословной.

Рыбы беззаботно резвились, словно не было в природе сетей и крючков; Рак подмигивал, будто знал, что выглядит весьма забавно, и смеялся вместе со всеми; и даже Скорпион волочил свои жуткие клешни с веселым и торжественным видом, словно его злонамеренность была просто легендой; Овен, Телец и Лев несли в себе все черты настоящих мужчин; нам казалось, что и мы, когда вырастем, станем похожими на них: беспечные, благородные, самостоятельные, они величаво правили в отведенные им месяцы. Что до Девы, по сути единственной женщины на всю Галактику, затрудняюсь сказать, как я ее тогда воспринимал. Тело ее было прикрыто, хотя одежду заменяли длинные волнистые пряди волос; пожалуй, узнай о ней школьные учителя, им вряд ли понравилось бы, что я часами созерцаю ее и думаю о ней, хотя эти мысли, как мне сейчас кажется, были совершенно невинными. Она была для меня ключом ко всей системе, высшей точкой, краеугольным камнем, богиней – ибо в те годы (но не теперь) моему воображению позарез требовалась иерархия; я считал, что все в жизни происходит по восходящей, круг наслаивается на круг, ярус на ярус, и регулярная смена месяцев никак не влияла на эту теорию. Я знал, что год вернется в зиму и начнется сначала, но на Зодиак, казалось мне, эти ограничительные периоды не распространялись: по восходящей спирали знаки Зодиака взмывали в бесконечность.

Завоевывать новые пространства и уноситься ввысь подобно некоему божественному духу – таким я видел главный принцип моей жизни, его же применял и к надвигающемуся столетию. Я не мог его дождаться. «Тысяча девятьсот, тысяча девятьсот», – с восторгом распевал я; когда старый век уже дышал на ладан, я начал волноваться – а доживу ли до появления его преемника? Этим мрачным мыслям было оправдание: я часто болел и имел представление о том, что такое смерть, но, главное, я боялся пропустить нечто бесконечно важное – приход Золотого века. Только так и не иначе я воспринимал новое столетие: во всем мире наступит гармония и сбудутся мои сокровенные мечты.

Некоторыми, но отнюдь не всеми планами на будущее я поделился с мамой, и на Рождество она подарила мне дневник, дабы я мог достойным образом запечатлеть вехи славного пути.

В моих сладостных зодиакальных фантазиях звучала одна дребезжащая нота, и, чтобы не портить себе настроения, я старался к ней не прислушиваться. Вписываюсь ли в общую картину я сам – вот что меня беспокоило.

Мой день рождения приходился на конец июля, и я мог с полным основанием считать себя Львом, но трезвонить об этом на всю школу не собирался. Я обожал этот знак и все, что он символизировал, но уже не мог отождествить себя с ним – когда-то я, подобно другим детям, с восторгом прикидывался каким-нибудь зверем, но безвозвратно утратил эту способность. Такой ущерб моему воображению нанесли полтора семестра, проведенные в школе, впрочем, дело было не только в этом. Я уже отпраздновал свой двенадцатый день рождения, и мне нравилось думать о себе как о мужчине.

Кандидатов было всего двое: Стрелец и Водолей. Мою задачу усложнил художник, который, видимо, умел изображать лишь несколько типов лиц, и эти двое вышли очень похожими друг на друга. В общем, это был один и тот же человек, выбравший разные ремесла. Он был

силен и крепок, что меня очень устраивало, потому что в одном из честолюбивых видений я являлся себе этаким Геркулесом. Все же я склонялся к Стрельцу – он казался мне более романтической фигурой, к тому же мысль о стрельбе была мне по душе. Правда, мой отец всегда бранил войну, а ведь именно она была профессией Стрельца; что касается Водолея, я, конечно, понимал, что он приносит большую пользу обществу, и все же думал о нем лишь как о скотоводе, в лучшем случае как о садовнике, а ни тем ни другим я становиться не желал. Эти двое привлекали меня, но и отталкивали; возможно, я завидовал им. Изучая титульный лист дневника, я старался не смотреть на сочетание Стрелец – Водолей, и когда вся система знаков взмывала к зениту, прихватывая с собой двадцатый век, чтобы покуролесить на небесах, я иногда умудрялся исключить эту пару из игры. В общем, ни один зодиакальный портфель мне не подходил, и приходилось поклоняться Деве.

В знаках Зодиака я разбирался лучше всех в классе – тут польза от дневника была очевидной. В других отношениях его влияние не было столь благоприятным. Я хотел быть достойным дневника, его фиолетовой кожи, золоченого обреза, вообще его великолепия; значит, и записи должны быть на положенном уровне. Надо, чтобы речь в них шла о чем-то стоящем, чтобы слог был безукоризненным. К понятию «стоящий» я уже тогда предъявлял довольно высокие требования и считал, что школьная жизнь лишена событий, которые не померкнут под такой роскошной обложкой, да еще в 1900 году. Что же я все-таки туда записывал? Злосчастная история помнилась отчетливо, а все, что ей предшествовало, – нет. Я начал листать страницы. Записей было немного. «Чай с папой и мамой К. – чрезвычайно весело». Дальше более изысканно: «Чрезвычайно милое чаепитие с родственниками Л. Сдобы, пшеничные лепешки, пирожки и клубничное варенье». «Ездили в Кентербери в трех экипажах. Посетили собор, очень интересно. Кровь Томаса Бекета<sup>2</sup>. *Très*<sup>3</sup> потрясающе». «Прогулка к замку Кингсгейт. М. показал мне свой новый ножик». Так, первое упоминание о Модсли: я стал листать страницы быстрее. Ага, вот – эпопея с Лэмбтон-Хаусом. Так называлась частная школа по соседству, наш извечный соперник. Они для нас были все равно что Итон для Харроу. «Принимали у себя Лэмбтон-Хаус. Ничья – 1:1». «Играли с Лэмбтон-Хаусом на выезде. Ничья – 3:3». Наконец: «Последний и решающий матч, переигровка. Лэмбтон-Хаус повержен 2:1!!!! Оба гола забил Макклinton!!!!»

Потом некоторое время – никаких записей. Повержен! Сколько мне пришлось выстрадать из-за этого слова! Мое отношение к дневнику было двойственным и противоречивым: я страшно им гордился и хотел, чтобы все видели его и прочли написанное в нем, в то же время инстинкт не позволял мне раскрывать свою тайну, и дневник я никому не показывал. Как поступить? Часами я взвешивал все за и против. Представлял, как дневник переходит из рук в руки под восхищенный шепот одноклассников. Мой престиж немедля возрастет, и я не премину этим воспользоваться – незаметно, но вполне ощутимо. С другой стороны, у меня есть нечто сокровенное – колдовать над дневником втайне от всех, холить его и лелеять, забываться в грезах о созвездиях Зодиака, размышлять над славной судьбой двадцатого века и испытывать пьянящую дрожь от сладостных предчувствий. Эти маленькие радости исчезнут, стоит только сказать о них или хотя бы рассекретить их источник.

Поэтому я старался получить двойное удовольствие: намекал на некое заветное сокровище, но что это за сокровище – не говорил. Какое-то время такая политика приносила успех, ребята зажигались любопытством, задавали вопросы: «Ну а что это такое? Скажи». Но я с наслаждением уклонялся от ответа: «Неужели вам так уж хочется знать?» Я напускал на себя вид «сказал бы, да не могу», на лице появлялась загадочная улыбка. Я даже поощрял вопросы

<sup>2</sup> Бекет Томас (1118–1170) – английский церковный и политический деятель. Выступал против политики короля Генриха II, по приказу которого был убит в 1170 г.

<sup>3</sup> Очень (*фр.*).

типа «животное, растение или минерал», но как только становилось «горячо», безжалостно прерывал игру.

Возможно, я как-то себя выдал; во всяком случае, произошло то, к чему я был совершенно не готов. Все вышло внезапно, сразу, в одну из утренних перемен, в тот день я не заглядывал в свой стол. Меня вдруг окружила толпа гогочущих школяров, они скандировали: «Кто сказал «повержен»? Кто сказал «повержен»? И тут же скопом кинулись на меня; я оказался на земле и подвергся самым разным истязаниям, а ближайший ко мне истязатель, – он, как и я, едва дышал под грудой тел – без устали кричал: «Ну что, Колстон, повержен?»

Еще как! Всю следующую неделю, которая показалась мне вечностью, на меня нападали по меньшей мере раз в день – не всегда в одно и то же время, заводили тщательно выбирали подходящий момент. Иногда день близился к концу и мне уже казалось: ну, сегодня пронесло, как тут же глазам моим представала гнусная шайка, замышлявшая недоброе; раздавался крик «повержен!», и вся орава набрасывалась на меня. Я быстро признавал себя поверженным, но прежде чем получить пощадку, успевал нахватать изрядное количество тумачков.

Как ни странно, при всем идеалистическом восприятии будущего к настоящему я относился с полным реализмом: мне и в голову не приходило сопоставлять мою жизнь в школе с приходом Золотого века или дуться на двадцатый век, который бросает меня в беду. Не было ни малейшего побуждения написать слезливое письмо домой или наябедничать кому-нибудь из учителей. Это напыщенное слово – повержен – я написал по своей воле, стало быть, сам во всем виноват, а посему общество вправе наказать меня. Однако мне отчаянно хотелось доказать, что я не повержен; сила мне не помощница, значит, надо действовать хитростью. Дневник, к моему удивлению, мне вернули. Если не считать того, что весь он был исчеркан словом «повержен», вернули в целостности и сохранности. Я отнес это на счет их великодушия; сейчас мне кажется, что свою роль здесь сыграло благоразумие – они боялись, что я заявлю о пропаже дневника как о воровстве. Заявить о краже по негласным законам школы не возбранялось, вот если бы я пошел ябедничать, что ребята не дают мне житья, – это другое дело. Короче, тут у меня претензий к ним не было, но я страстно желал положить конец преследованию и поквитаться с обидчиками. Поквитаться, не более того: мстительным я не был. К счастью, издевательские слова они написали карандашом. Я взял испоганенный дневник и, уединившись в туалете, принялся стирать их; именно за этим механическим занятием, не требующим работы мозга, меня осенило.

Они, наверное, думают, полагал я, что дневник навеки опорочен, и я уже не смогу черпать в нем самоуважение – собственно, они были почти правы, ибо поначалу мне казалось: после того, как над дневником надругались, он потерял магическую притягательность, я даже не мог смотреть на него. Но по мере исчезновения дразнящих слов «повержен» дневник вновь стал обретать для меня ценность, сила его возвращалась. А что, если сделать его орудием мести? Это будет справедливо – и поэтично. Более того, своих врагов я застану врасплох, у них не вызовет подозрений ружье, ствол которого они так тщательно забили. В то же время им не избежать и угрызений совести, дневник в качестве орудия мести напомнит им о причиненной мне боли, а мой удар будет еще чувствительнее.

Тут же, в тиши моего убежища, я принялся усердно готовить месть; потом, чуть надрезав палец, обмакнул ручку в выступившую кровь и написал в дневнике два проклятья.

Сейчас они сильно выцвели и пожелтели. Текст все-таки можно было разобрать, но осмыслению он не поддавался; лишь два имени, ДЖЕНКИНС и СТРОУД, были выведены заглавными буквами со зловещей четкостью. Написанное и раньше едва ли кто мог осмыслить, потому что смысла в этих проклятьях не было: я состряпал их из цифр, алгебраических символов и врезавшихся в память букв санскритского алфавита, над которыми когда-то сиживал, читая в переводе «Шагреновую кожу». За ПЕРВЫМ ПРОКЛЯТЬЕМ следовало ВТОРОЕ ПРО-

КЛЯТЬБЕ. Каждое заняло страницу. На следующей странице дневника, в остальном чистой, я написал:

ТРЕТЬЕ ПРОКЛЯТЬЕ  
ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ПРОКЛЯТЬЯ ЖЕРТВА УМИРАЕТ  
Начертано моей рукой и написано моей КРОВЬЮ  
ПО ПРИКАЗУ МСТИТЕЛЯ

Буквы изрядно поблекли, но и сейчас дышали злобой, и сейчас могли привести суеверного человека в смятение, и мне следовало бы устыдиться их. Но стыда я не ощутил. Наоборот, я позавидовал себе – тогдашнему мальчишке: он не хотел безропотно сносить оскорбления, не имел понятия о миротворстве и был готов поставить на карту все, лишь бы завоевать уважение общества.

Что выйдет из моего плана, я представлял смутно, просто убрал дневник в ящик стола, нарочно оставил его не запертым, даже чуть-чуть приоткрыл, так что виднелась обложка дневника – и стал ждать.

Ждать пришлось недолго, и результаты оказались весьма неприятными. Через несколько часов вся орава навалилась на меня, и на этот раз меня отвалтузили сильнее, чем когда-либо. «Повержен, Колстон, повержен!» – кричал Строуд, умудрившийся сесть на меня верхом. – Ну, так кто из нас мститель?» – И пальцами он надавил мне под глазами – шутка, от которой, как известно, глаза вылезают из орбит.

В ту ночь я лежал в кровати, и из моих воспаленных глаз впервые текли слезы. Я учился в школе второй семестр; раньше ко мне относились не хуже, чем к другим, тем более я никогда не был козлом отпущения и теперь просто не знал, что предпринять. Меня загнали в тупик. Все мои учителя были старше меня, и я едва ли мог подговорить ребят дать им бой. А раз так, бесполезно искать чьего-либо сочувствия. Созывать добровольцев, если дело доходило до драки, – это пожалуйста, это твое право; но плакаться кому-то в жилетку, просто чтобы тебя пожалели – такого не бывало. Со мной в комнате жили еще четверо (один из них – Модсли), и все они, естественно, знали, в какое я попал положение; но ни один из них не смел и обмолвиться об этом, даже когда они видели мои ссадины и синяки – возможно, в такие минуты тем более. Даже сказать: «Не повезло», – считалось дурным тоном, это значило бы, что я сам не в силах справиться с выпавшими на мою долю трудностями. Все равно что указать человеку на его физический недостаток. Пожар в своем доме каждый тушит сам – в школе этот закон носил абсолютный характер, и я первый был готов голосовать за него обеими руками. Я пришел в школу позже других и безоговорочно принял все существовавшие до меня порядки. Я был соглашателем: мне и в голову не приходило, что причина моих страданий кроется в самой школьной системе, а может, в жестокости человеческих сердец.

Однажды соседи по комнате все же проявили по отношению ко мне редкий такт, о чем я и сейчас вспоминаю с благодарностью. У нас была традиция: когда погасят свет, обязательно несколько минут поболтать, просто потому что школьными правилами это запрещалось; и если кто-то из пяти отмалчивался, его сразу же окликали, заявляли ему, что он трус и позорит доброе имя комнаты. Не знаю, доносились ли до них мои всхлипывания, но говорить в тот вечер я не отважился – не доверял своему голосу, – и никто из соседей не упрекнул меня.

На следующий день в перемену я прогуливался один, стараясь держаться ближе к стене, так, по крайней мере, меня будет трудно окружить. Я смотрел в оба, чтобы не прозевать появления моих недругов (только что никого не было – вдруг словно из-под земли шесть человек), но тут ко мне подошел парень, которого я едва знал, и, странно косясь на меня, спросил:

– Слышал новость?

– Какую новость? – В те дни я почти ни с кем не разговаривал.

– Насчет Дженкинса и Строуда. – Он с прищуром глянул на меня.

– А что такое?

– Вчера вечером они забрались на крышу, и Дженкинс поскользнулся, а Строуд хотел удержать его, да не смог, в общем, бухнулись вниз оба. Сейчас лежат в изоляторе с сотрясением мозга, вызвали их родителей. Дженкинсовы мать с отцом только что прикатили. Шторки на окнах кеба опущены, мать Дженкинса вся в черном. Я подумал, стоит тебе рассказать.

Я ничего не ответил; парень исподлобья посмотрел на меня и, посвистывая, ушел. На меня накатила слабость: неужели это происходит со мной, неужели больше не нужно бояться шайки? Но я боялся другого – а что со мной сделают, если я убийца? Прозвенел звонок, я поплелся к двери в конце коридора, и тут подошли двое мальчишек из моей комнаты, пожали мне руку и с уважением в голосе сказали: «Поздравляю». Тогда я понял, что победил.

Я стал настоящим героем: как выяснилось, к Дженкинсу и Строуду никто не пылал особой любовью, хотя никто не шевельнул и пальцем, когда они издевались надо мной. Даже их четыре дружка, помогавшие валтузить меня, признались: это Дженкинс и Строуд хотели выставить меня дураком и всем рассказали о моих проклятьях, и теперь вся школа умирала от любопытства: собираюсь ли я прибегнуть к третьему проклятью? Даже старшеклассники спрашивали меня об этом. По общему мнению, следовало бы проявить благородство и сохранить им жизнь, хотя я был вправе сам решать их судьбу, даже главный старшина школы сказал мне: «Этих парней надо как следует проучить». Но я отказался от третьего проклятья. Я и так был в тайном ужасе от содеянного и, наверное, совсем бы сник, не будь на моей стороне общественное мнение. Чтобы мои жертвы быстрее поправились, я придумал несколько заклинаний, но заносить их в дневник не стал – во-первых, сразу бы притупилось чувство триумфа, которое подогревала во мне вся школа, во-вторых, не сработай эти заклинания, моя репутация мага серьезно бы пострадала. И вообще такой шаг не встретил бы одобрения; ведь когда жизни Дженкинса и Строуда висели на волоске – это продолжалось несколько дней, – все мы ходили с постными лицами, вели себя тише воды ниже травы, но в душе надеялись на худшее. По школе расползались зловещие слухи (натянутые на лица простыни, рыдающие родители), и разрядить напряжение мог лишь один исход – смерть. Однако постепенно жажда крови исчезла; дела у моих недругов медленно, но верно пошли на поправку, и одноклассники с кислой миной восхищались тем, что я проявил снисходительность и не стал пускать в ход третье проклятье, которое, как считали почти все, а порой и я сам, повлекло бы за собой роковые последствия.

«Повержен, Колстон, повержен?» Нет, я вышел из боя с развевающимися знаменами. Я стал героем дня, и хотя столь широкая популярность продержалась недолго, отголоски ее так никогда и не затихли. Я сделался признанным авторитетом в двух областях, дорогих сердцам почти всех мальчишек того времени: черной магии и тайнописи; ко мне частенько обращались за советом по этим вопросам. Я даже установил таксу – три пенса за консультацию, которую давал только после соблюдения неких колдовских формальностей, объявления пароля и так далее. Я также изобрел тайный язык и несколько дней дрожал от восторга, слыша, как на нем изъясняются все вокруг. Если не ошибаюсь, суть состояла в том, чтобы слог «ски» ставить попеременно в начало и конец каждого слова в предложении, вот так: «Тыски скисделал урокиски скина завтраски?» Всем этот язык очень понравился, и за мной укрепилась репутация человека, гораздого на выдумки. А также знатока родной речи. Надо мной уже никто не смеялся, если я применял мудреные слова или обороты, наоборот, их от меня ждали; дневник мой превратился в кладезь синонимов самого претенциозного свойства. Тогда-то у меня и зародилась мечта стать писателем – возможно, величайшим писателем величайшего века, двадцатого. Я не имел понятия, о чем буду писать, но составлял предложения, которые, как мне казалось, хорошо звучат и будут прекрасно смотреться на странице книги; довести свои писания

до уровня, пригодного для публикации, – вот куда простирались мои честолюбивые замыслы, а писатель в моих глазах был человеком, чьи труды удовлетворяют требованиям печати.

Мне часто задавали один вопрос, который я всегда оставлял без ответа: что именно означали проклятья, низвергнувшие с крыши Дженкинса и Строуда? Как их перевести на язык слов? Разумеется, я и сам не знал, что они означают. Понятно, я без труда мог бы представить объяснение, но по некоторым причинам считал, что разумнее этого не делать. Сохраню их смысл в тайне – и мой престиж только возрастет; предам гласности – вдруг ими воспользуются какие-нибудь безответственные люди, а тогда недолго и до беды. Кто знает, может, мои проклятья обернутся против меня самого? Между тем пример оказался заразительным: по всей школе из рук в руки тайно передавались записки с мистическими знаками, означающими проклятья. И хотя их авторы иногда утверждали, что добились результата, мое деяние оставалось на недостижимой высоте.

«Повержен, Колстон, повержен?» Нет, я победил, и моя победа, хотя и добытая необычными средствами, отвечала главному требованию школьных законов: я добился ее сам, во всяком случае, не прибегая к помощи представителей рода человеческого. Я не ябедничал, не фискалил. Но и не вышел за рамки привычного школьного опыта: сделанное мной лишь отчасти казалось фантастическим, в то же время было вполне обыденным. Нельзя сказать, что до меня в школе о проклятиях слухом не слыхивали, но произведенный эффект потряс всех. Я инстинктивно почувствовал, что мои одноклассники верят в потусторонние силы, и решил на этом сыграть. Мне удалось реально и трезво оценить положение и использовать то, что было под рукой, посему я и получил вполне реальное вознаграждение. Если бы я смотрел на школу Саутдаун-Хилл как на некий придаток двадцатого столетия или разыскивал в ней серьезную связь со знаками Зодиака – знаменитыми, исполненными совершенства творениями, медленно воспаряющими к далеким высям – судьба нанесла бы мне тяжкий удар.

Сделав над собой усилие, я снова взял дневник и принялся перелистывать густо исписанные страницы, искрившиеся успехом. Февраль, март, апрель – в апреле из-за каникул записи прекратились, – снова много записей в мае и вплоть до первой половины июня. Дальше опять скудно, и вот передо мной уже июль. В понедельник 9 июля появилась запись «Брэндем-Холл». Потом шел список имен приглашенных гостей. И дальше: «10-е, вторник, 84,7<sup>4</sup> градуса». Все последующие дни я регистрировал максимальную температуру и многое другое, наконец: «26-е, четверг, 80,7 градусов».

Это последняя запись в июле, последняя запись во всем дневнике. Дальше страницы можно не переворачивать – я знал, что они пусты.

Было пять минут двенадцатого, обычно я ложусь в одиннадцать. Зачем изменяю старой привычке? Но прошлое не отпускало меня – события, происшедшие в те девятнадцать июльских дней, зашевелились во мне, так дает о себе знать мокрота, просясь наружу перед приступом кашля. Я не будил этих воспоминаний долгие, долгие годы, но они всегда жили в моей душе, и тщательное бальзамирование сделало их лишь более полными и ясными. Никогда не являлись они на свет Божий; при малейшем шевелении я взрыхлял почву, разравнивал ее – и поверхность оставалась гладкой.

Внутри была зарыта тайна – объяснение моего «я». Впрочем, не слишком ли всерьез я себя принимаю? Кому какое дело до того, каким я был тогда, каков сейчас? Но в любую пору жизни человек много значит для себя самого; более полувека я старался снизить интерес к собственной персоне, уменьшить его до тонюсенького слоя. Благодаря такой погребальной политике мне удалось поладить с жизнью, я заключил с ней рабочее – да, именно рабочее – соглашение на том условии, что эксгумации не будет. Мне иногда кажется, что всю свою энергию я растратил на ремесло гробовщика – неужели эта мысль верна? А хоть и верна, что с того? Знай

---

<sup>4</sup> Здесь и далее температура по шкале Фаренгейта. 84,7 градуса соответствуют 29 градусам по Цельсию.

я раньше то, что знаю теперь, разве моя жизнь сложилась бы иначе? Сомневаюсь; да, пожалуй, знание – это великая сила, но оно не есть умение стойко сносить удары судьбы, не падать духом, приспосабливаться к условиям жизни, тем более быть терпимым к человеческим слабостям; именно этими качествами я был больше наделен в 1900 году, нежели теперь, в 1952-м.

Случись все не в Брэндем-Холле, а в школе Саутдаун-Хилл – я бы знал, как себя вести. Своих однокашников я понимал – они вполне умещались в рамки моих понятий о жизни; но мир Брэндем-Холла был для меня загадкой; люди в нем никак не укладывались в упомянутые рамки; смысл их жизней был для меня не менее туманным, чем смысл проклятий, которые я навлек на Дженкинса и Строуда; для меня люди Брэндем-Холла олицетворяли знаки Зодиака. По сути дела, они были воплощением моих грез, осуществлением моих надежд; в них воплотился весь славный двадцатый век. Они были для меня недостижимы, как для магнитов, пролежавших в коробке пятьдесят с лишним лет, недостижима сталь.

Если бы тот двенадцатилетний мальчишка, к которому я проникся большой любовью, бросил мне упрек: «Я так хорошо начинал, почему же ты заживо схоронил себя? Почему проторчал всю жизнь в пыльных библиотеках за регистрацией чужих книг, почему не написал свои собственные? Куда подевались Овен, Телец и Лев, на которых я велел тебе равняться? И самое главное – я доверил тебе Деву с сияющим лицом и длинными локонами; где она?» – что бы я на этот упрек ответил?

У меня готов ответ: «Слушай, во всем виноват ты сам, сейчас объясню почему. Ты подлетел слишком близко к солнцу, и его жар опалил тебя. По твоей милости я обречен до конца жизни тлеть».

На это он может возразить: «Но ведь у тебя было полвека на то, чтобы исправить мою ошибку! Половина столетия, половина двадцатого столетия, периода славных свершений, Золотого века, который я завещал тебе!»

«А что, – спрошу тогда я, – разве двадцатый век преуспел намного больше меня? Я согласен, что эта комната уныла и безрадостна, но когда ты уйдешь отсюда и сядешь в последний автобус, уходящий в прошлое – только смотри не опоздай, – спроси себя: а все ли вокруг так радужно, как ты представлял? Сбылись ли твои мечты? Ты повержен, Колстон, повержен, а вместе с тобой и твой век, твой драгоценный век, на который ты так надеялся».

«Но ты мог бы попытаться. Неужели бегство было единственным выходом? Ведь я не убежал от Дженкинса и Строуда, я победил их. Не сразу, конечно. Я уединился в укромном местечке и долго думал о них, они стояли у меня перед глазами, словно живые. Я и сейчас помню, как они выглядели. А потом я дал им бой. Они были моими врагами. Я навлек на них проклятья, и они свалились с крыши и получили сотрясение мозга. Больше они мне не докучали. Какое-то время я о них вспоминал. Сейчас уже нет. А ты? Ты пробовал дать бой? Пробовал навлечь проклятья?»

«Это, – скажу я, – должен был сделать ты, но не сделал».

«Как же, а заклинание?»

«Что толку в заклинании, тут требовались проклятья. Но ты не хотел причинить им боль, ни миссис Модсли, ни ее дочери, ни Теду Берджесу, ни Тримингему. Не хотел даже признаться, что они-то причинили тебе боль, не хотел думать о них как о врагах. Ты предпочитал думать о них как об ангелах, пусть даже падших. Ведь они были частью твоего Зодиака. «Если не можешь думать о них хорошо, лучше совсем не думай. Ради тебя самого не думай о них», – так ты меня напутствовал при расставании, и я выполнил твой наказ. Может, они и испортили мне жизнь? Я не думал о них, потому что думать хорошо не мог, да и о себе в связи с ними – тоже. Во всей этой истории хорошего было мало, уверяю тебя, и если бы ты понял это и навлек на них проклятья... но ты, уже едва дыша, умолял меня думать о них хорошо...»

«А ты все-таки попробуй, еще и сейчас не поздно».

Голос стих. Но свое дело он сделал. Ведь я же думаю о них. Погребальные одежды, гробы, усыпальницы – все, что надежно прятало их, вдруг исчезло, и некуда было убежать от воспоминаний, они нахлынули на меня: вспомнилось место действия, люди, события. Возбуждение, близкое к истерике, забурлило во мне ключом. Может быть, еще не поздно, смущенно подумал я, но, во всяком случае, уже не рано: прозябать на этом свете мне осталось не так долго. Эта мысль была последней вспышкой инстинкта самосохранения, который столь откровенно бросил меня на произвол судьбы в Брэндем-Холле.

Часы пробили двенадцать. Вокруг меня громоздились ворохи пожелтевшей от времени бумаги, зазубренные края листов напоминали утесы Танета<sup>5</sup>. Я погребен под этими утесами. Но они же станут свидетелями моего воскресения, начавшегося в красной картонной коробке, содержимое которой лежало передо мной. Я взял замок с секретом, снова взглянул на него. Какая комбинация букв его открывает? Впасть в транс не потребовалось, на выручку пришла самовлюбленность. Я негромко произнес слово-шифр, произнес с некоторым удивлением: вот уже несколько лет оно жило лишь на бумаге. Это было мое имя, ЛЕО.

---

<sup>5</sup> Остров в графстве Кент, Великобритания.

## Глава 1

Восьмое июля было воскресенье, а в понедельник я выехал из Уэст-Хэтча, деревушки под Солсбери, в которой мы жили; путь в Брэндем-Холл лежал через Лондон. По просьбе мамы жившая в столице тетя Шарлотта обещала показать мне Лондон. Меня колотила дрожь, понимали колики в желудке – я не мог дожидаться этой поездки.

Как случилось, что я получил это приглашение? Модсли никогда не был моим близким другом – я даже не помню, как его звали. Возможно, его имя всплывет позже: есть вещи, которые моя память старается упрятать подальше. Но в те времена школьники редко звали друг друга по имени. Имена считались просто неизбежной помехой.

Итак, Модсли: круглолицый парень с темными волосами, лицо желтоватое, верхняя губа выдавалась вперед и открывала зубы; он был на год моложе меня, ничем особенным не отличался, середнячок в учебе и играх, но вроде бы считался своим парнем, как мы тогда говорили. Я знал его очень хорошо, потому что мы жили в одной комнате и как раз перед историей с дневником как-то сдружились, стали вместе гулять (тогда гуляли парами), показывали друг другу кое-какие личные сокровища и делились довольно сокровенными для школьников мыслями, а это всегда чревато опасностью. Во время одного из таких доверительных разговоров мы обменялись адресами; его дом назывался Брэндем-Холл, а мой – Корт-Плейс<sup>6</sup>, и название моего жилища произвело на Модсли большое впечатление, потому что, как вскоре выяснилось, он был снобом, а я в то время еще нет, если не считать мира небесных тел – тут я был сверхснобом.

Название Корт-Плейс расположило его ко мне, как, надо полагать, и миссис Модсли. Однако они дали маху, потому что Корт-Плейс был обычным домом в конце деревенской улицы, за висячими цепями, которыми я очень гордился. Ну, может, не совсем обычным, потому что часть дома, по преданию, была очень старой; у солсберийских епископов здесь якобы был суд, отсюда и название. За домом был садик площадью в один акр, его пересекал ручей, три раза в неделю приходил садовник и ухаживал за растениями. Это не был суд в напыщенном смысле слова, как, вероятнее всего, считал Модсли.

Так или иначе, мама едва сводила концы с концами. Мой отец, я думаю, был немного не от мира сего. Природа наделила его тонким и ясным умом, но отец отказывался замечать то, что его не интересовало. Я не назвал бы его мизантропом, но он был человек необщительный, не признавал традиций. Имел свои весьма оригинальные взгляды на образование, по одной его теории меня вообще не следовало посылать в школу. По мере возможностей он обучал меня самостоятельно; в этом деле ему помогал репетитор, приезжавший из Солсбери. Дай отцу волю, не видать бы мне школы, но мама считала иначе, да и я тоже, и вскоре после его смерти я стал школьником. Я восхищался отцом, чтил его мнение, но по темпераменту был ближе к матери.

Свой талант он израсходовал на увлечения: коллекционировал книги, занимался садоводством; работа у него была самая обыкновенная и вполне его удовлетворяла – он служил в банке в Солсбери. Мать считала, что отцу не хватает предприимчивости, и к его увлечениям относилась с некоторой ревностью и раздражением; они, как и всякие увлечения, держат его в плену и, стало быть, не дают никакой реальной пользы. Тут она оказалась права, потому что книги он подбирал дальновидно и со вкусом, и сумма, которую мы выручили от их продажи, оказалась на диво большой; благодаря им я был огражден от решения насущных проблем. Но это случилось гораздо позже; тогда же мама, к счастью, и не помышляла продавать книги отца, она дорожила его любимыми вещами – возможно, чувствовала, что была к нему несправедлива, и мы жили на ее деньги, на пенсию из банка да на скромные отцовские сбережения.

---

<sup>6</sup> Здание суда.

Мама, хотя и жила затворницей, всегда интересовалась мирскими делами, считала, что при других обстоятельствах она обязательно заняла бы достойное место в обществе; но поскольку отец людям предпочитал предметы, возможности ее были весьма ограничены. Она любила посплетничать, выйти в свет и должным образом для этого одеться; ее заботило общественное мнение деревни, и приглашение на какой-нибудь прием в Солсбери всегда льстило ее самолюбию. Оказаться среди хорошо одетых горожан на аккуратно подстриженной лужайке – над головой парит кафедральный шпиль, – раскланиваться и отвечать на приветствия, обмениваться семейными новостями и вставлять робкие замечания в разговоры о политике – все это доставляло ей неопишное удовольствие; присутствие знакомых словно бодрило ее, ей требовалось вращаться в обществе. Когда к дому подкатывало ландо (в деревне была платная конюшня), она поднималась в него с гордым и чуть высокомерным видом; в обычные дни на лице ее были неуверенность и озабоченность. А если ей удавалось уговорить отца, и он ехал вместе с ней, она была счастлива беспредельно.

После смерти отца наша и без того скромная роль в жизни общества стала совсем незаметной; но даже в лучшие времена она не соответствовала громкому имени Корт-Плейс – чтобы утверждать это, не надо быть знатоком светского этикета.

Ничего этого я Модсли, разумеется, не сказал – не из желания скрыть истину, просто по школьным законам столь личные излияния не были приняты. Случалось, кто-то начинал хвастаться своими богатыми и шикарными родителями, но Модсли до этого не опускался. Он вообще был парень не по годам сметливый; каким-то образом сумел пообтесаться еще до школы. Я никогда его как следует не понимал; возможно, и понимать было нечего, а дело было лишь в инстинктивном умении подстраиваться под общественное мнение, в *savoir-faire*<sup>7</sup>, благодаря чему он без видимых усилий оказывался в лагере победителей.

Во время истории с дневником он сохранял нейтралитет – требовать от друзей большего было нельзя. (Здесь нет никакой иронии; они были младше возрастом и реально помочь мне не могли.) Но когда победа досталась мне, он не скрывал, что очень рад за меня, и, как я потом узнал, рассказал о моем успехе своей семье. Я давал ему уроки магии и, помню, рисовал для него – бесплатно – заклинания на тот случай, если ему придется туго, хотя я в такое мало верил. Он относился ко мне с почтением, и я чувствовал, что пренебрегать этим не стоит. Однажды в минуту откровения он поведал мне, что собирается учиться в Итоне, и он действительно был похож на маленького итонца – держится непринужденно, хорошо воспитан, уверен в себе.

Последние недели пасхального семестра были самыми счастливыми в моей школьной жизни, и на каникулы я отправился окрыленный. Впервые я испытывал к себе уважение. Я попробовал объяснить мой новый статус маме, но она выслушала меня с озадаченным видом. Она могла понять успех в учебе (к счастью, и здесь мне было чем похвастаться) или спорте (тут мои достижения были скромнее, но я надеялся показать себя в крикете). Но чтобы прославиться как волшебник! Мама мягко, снисходительно улыбнулась, только что не покачала головой. В каком-то смысле она была женщиной религиозной: приучила меня к тому, что нужно совершать хорошие поступки и молиться; я всегда молился, потому что по нашим школьным законам это не возбранялось, главное – не слишком усердствовать; вообще же обращаться за помощью к Господу не считалось зазорным. Может, мама и поняла бы, что значит для меня выделиться среди одноклассников, расскажи я ей все от начала до конца; но мне пришлось что-то урезать, что-то совсем выбрасывать, и в моем рассказе осталось очень мало от того, что произошло на самом деле; и уж совсем не коснулся я волшебной перемены – только что был загнанной жертвой, и вот уже поднялся на пьедестал власти. Просто какие-то ребята ко мне относились не очень, а теперь все относятся замечательно. Потому что в дневнике я записал что-то вроде молитвы, и нехорошие мальчики упали и ушиблись, вот я, понятное дело, и обра-

<sup>7</sup> Такт, находчивость (*фр.*).

довался. «А было ли чему радоваться? – озабоченно спросила мама. – По-моему, ты должен был огорчиться, даже если они не очень хорошо к тебе относились. Они сильно ушиблись?» – «Очень сильно, – признал я, – но, понимаешь, они же были моими врагами». Однако она не стала восторгаться вместе со мной и с тревогой в голосе сказала: «У человека в твоём возрасте не должно быть врагов». В те годы вдова ещё была скорбной фигурой; мама чувствовала ответственность за мое воспитание и считала, что без твердости не обойтись, но толком не знала, как или когда ее применить. «Когда они вернуться, – вздохнула она, – пожалуйста, будь к ним добр; если они и относились к тебе не очень хорошо, то наверняка не по злему умыслу».

Дженкинс и Строуд получили несколько переломов и вернулись в школу только осенью. Они вели себя очень смиренно, я тоже, и добрые отношения установились сами собой.

Если мама считала, что я злорадствовал из-за чужого несчастья, она ошибалась; сильно возросли мои собственные акции – вот почему я торжествовал. Но я всегда был чувствителен к мнению окружающих, и мамино робкое одобрение не давало мне наслаждаться грезами о собственном величии. Я задумался: может, в них есть что-то постыдное? Короче говоря, в школу я вернулся не волшебником, а рядовым учеником. Но мои друзья и клиенты ничего не забыли; как ни странно, интерес к моей осведомленности в вопросах черной магии не только не ослаб, а усилился. Я был все так же популярен, и вскоре последние угрызения совести испарились. От меня требовали новых чудес, например, чтобы я устроил внеочередные каникулы. Я придумал заклинание, вложил в него все свои душевные силы – и был вознагражден. В первых числах июня вспыхнула эпидемия кори. К середине семестра половина школы лежала вповалку, и вскоре на нас обрушилась потрясающая новость – занятия отменяются, мы разъезжаем по домам.

Можно представить восторг тех, кого не подкосила болезнь, – в их числе были я и Модсли. Обычно душа наливалась пьянящим соком свободы за тринадцать недель, а тут напиток созрел на исходе седьмой; мы дрожали от возбуждения – нас обласкала фортуна, до этого случая школа удостаивалась такого королевского подарка лишь однажды.

Возле моей кровати появился блестящий черный чемодан с солидной закругленной крышкой и коричневый деревянный сундучок, на котором поверх инициалов отца более темной краской были выведены мои – это наглядное свидетельство нашего отъезда волновало меня куда больше, чем краткое объявление, которое директор школы сделал после вечерней молитвы. Я не только видел предстоящий отъезд, но и обонял его: от чемодана и сундучка исходил запах дома, он заглушал запах школы. Целый день сосуды спасения стояли пустые, и все это время нас не отпускал страх – а вдруг Джей-Си, как мы его называли, передумает? Заведующая с помощницей никак не могли добраться до нашей комнаты. Все же очередь дошла и до нас, и наконец, прокравшись наверх по лестнице, я увидел свой чемодан: крышка откинута, а внутри пенится тонкая бумага, в которую были завернуты кое-какие мои пожитки, в основном легкие и хрупкие. Это была минута высшего наслаждения, потом я уже не испытывал такого невыразимого блаженства, хотя происходившее все больше захватывало меня.

К парадной двери школы вместо трех подали два экипажа. Вялость на лицах кучеров никак не вязалась с переполнявшей нас радостью, но вполне нас устраивала. Свое дело они, однако же, знали: тронули лошадей, лишь когда на скамью взгромоздился последний, маленький мальчишка (даже мне он казался очень маленьким). Осталось выполнить последний ритуал – единственная буффонада, какую мы себе позволяли, ибо вообще-то на чувства были скупы. Старшина привстал, огляделся вокруг и крикнул: «Да здравствуют мистер Кросс, миссис Кросс и их малышка!» Зачем он приплел малышку, я так и не понял; возможно, теперь уже бывшему старшине напоследок захотелось поозоровать. Господь с некоторым опозданием (так нам казалось) одарил мистера и миссис Кросс третьей дочерью. По нашим понятиям две другие дочки уже выросли, и на них мы не обращали внимания. Да и малышка уже не была малышкой – почти четыре года, – но кричать ей в знак приветствия нам почему-то нравилось;

а уж как это нравилось ей! Родители поднимали ее, и она махала нам ручкой. Так произошло и сейчас, и мы, подталкивая друг друга локтями, с облегчением засмеялись, – как и полагалось англичанам, подобные приветствия мы не слишком принимали всерьез.

Клич наш прозвучал слабее обычного, но задора в нем, как всегда, хватало; мы и не подумали в эту минуту о несчастных козлах отпущения, томившихся в изоляторе. Малышка ответила нам как нельзя лучше: полным комизма королевским жестом. Кучера, продолжая смотреть в одну точку, взмахнули кнутами – и мы выехали за ворота.

Сколько длилось это упоение свободой? Вершины оно достигло в поезде. На приезд и отъезд школе выделялся целый вагон, каких сейчас уже не встретишь. Он был убран темно-красным плюшем, по всей длине вагона тянулись повернутые друг к другу сиденья. От них резко пахло паровозным дымом и табаком, и, если поезд вез меня в школу, к горлу сразу подступала тошнота. Но на пути домой это был запах самой свободы, он действовал, словно тонирующий напиток. Лица светились радостью, не прекращалась шутовская возня; в который уже раз зашел разговор о юго-восточной железной дороге. Я небрежно вытащил дневник и начал обводить дату – это была пятница, 15 июня – красным карандашом. Мои соседи исподтишка наблюдали за мной. Может, на их глазах рождается новое заклинание? Наконец мне надоело выводить вензеля и загогулины, и я закрасил красным цветом всю страницу.

Неужто мне и вправду казалось, что эпидемия – моих рук дело? Да, я скромно считал, что отчасти моя заслуга тут есть, и в некоторых кругах эпидемию ставили мне в заслугу. Мои претензии никто и не думал подвергать сомнению, скорее наоборот: но благоговейный трепет теперь был сдобрен эдаким добродушным подшучиванием, которое, если бы продолжался семестр, могло, чего доброго, перерасти в насмешку. По-моему, я в какой-то степени перестал быть самим собой, не в смысле поведения (хочется надеяться) – изменился мой взгляд на жизнь. Раньше я себя ни в грош не ставил; теперь стал чересчур самоуверен. Не сомневался, что все пойдет как по маслу, стоит лишь пальцем шевельнуть. Надо только пожелать – и все будет так, как я хочу. Эра гонений безвозвратно прошла; я расслабился и снял часовых. Я казался себе неуязвимым. Я не верил, что мое счастье зависит от каких-то обстоятельств, просто все законы бытия теперь работают на меня. 1900 год, двадцатый век, мое будущее – мечты начинали сбываться.

К примеру, мне даже в голову не приходило, что я могу заболеть корью, и я ужасно удивился, что мама считала это не только возможным, но и весьма вероятным. «Если вдруг почувствуешь слабость, – озабоченно проговорила она, – сразу мне скажи, ладно?» Я улыбнулся. «Да все будет в порядке, мама», – заверил я ее. «Надеюсь, – ответила она. – Но не забывай, как сильно ты болел в прошлом году».

Да, прошлый год, 1899-й, принес немало горя. В январе скоростижно скончался отец, а летом я свалился с дифтерией, и не обошлось без осложнений; почти весь июль и август я пролежал в постели. Стояла на редкость жаркая погода, но мне хватало и своего жара – я метался в лихорадке, и духота в комнате лишь добавляла мне страданий. Она стала моим врагом, а солнце – незванным гостем. Его появление приводило меня в ужас; и когда люди говорили, каким чудесным было то лето, давно так не пригревало, я не мог их понять – вспоминал о пересохшем горле, о том, как катался по кровати, ища между простыней хоть капельку прохлады. Так что я не случайно желал девятнадцатому веку скорейшей кончины.

Я сказал себе: лето 1900 года обязательно будет прохладным, я об этом позабочусь. И в небесной канцелярии вняли моей просьбе. 1 июля температура была около 60 градусов, лишь трижды – 10-го, 11-го и 12-го – июнь огорчал меня жаркими днями. В дневнике я пометил их крестиками.

Первого же июля пришло приглашение от миссис Модсли, в те времена почта работала и по воскресеньям. Мама показала мне письмо; оно было написано крупным размашистым почерком. Я как раз недавно научился разбирать незнакомый почерк и отчасти гордился этим

достижением. Миссис Модсли не сбрасывала корь со счетов, но к возможности заболевания относилась не так серьезно, как мама. «Если до 10 июля наши дети не покроются пятнами, – писала она, – мне бы очень хотелось, чтобы Лео с вашего позволения провел остаток месяца с нами. Маркус – ага, вот как его звали! – очень много рассказывал о вашем сыне, и я буду счастлива с ним познакомиться, если вы, разумеется, не против. Маркус – младший в семье, порой ему кажется, что он обойден вниманием, и общество ровесника было бы для него прекрасным развлечением. Я знаю, что Лео – единственный ребенок, и обещаю как следует заботиться о нем. Воздух Норфолка...» и так далее. Кончалось письмо так: «Вас может удивить, что на лето мы выехали за город, но ни я, ни муж не отличаемся крепким здоровьем, к тому же проводить лето в городе – не самый лучший отдых для ребенка».

Я долго изучал это письмо и скоро запомнил его наизусть. За обычными фразами скрывался, как мне казалось, глубокий и неподдельный интерес к моей персоне; пожалуй, я впервые почувствовал, что реально существую в жизни незнакомого со мной человека.

Я сразу загорелся желанием поехать и не мог понять маминых сомнений. «Норфолк так далеко, – говорила она, – а ты никогда еще не уезжал из дома, то есть не останавливался у незнакомых людей». «Но я ведь жил в школе», – возражал я. С этим доводом она соглашалась. «Только мне не хочется, чтобы ты ехал так надолго. А вдруг тебе там не понравится, что тогда будешь делать?»

«Да наверняка понравится», – заверял я маму. «И потом ты будешь там в день твоего рождения, – вспомнила она. – Этот день мы всегда проводили вместе». На это мне нечего было ответить, о дне рождения я начисто позабыл, и на душе вдруг заскребли кошки. «Обещай, что сразу дашь знать, если тебе будет там плохо», – сказала она. Мне не хотелось повторять, что плохо наверняка не будет, поэтому я обещал. Но ей и этого было мало. «А вдруг у кого-то из вас окажется корь, – в голосе ее звучала надежда, – у тебя или Маркуса».

Десять раз за день я спросил ее, написала ли она ответ; наконец мама потеряла терпение. «Не приставай ко мне – написала», – бросила она в сердцах.

Потом начались сборы – что взять с собой? Летняя одежда, сказал я, мне не понадобится. «Жарко не будет, можешь мне поверить». На моей стороне была сама погода – один холодный день сменялся другим. На этот счет мама была со мной единого мнения: плотная одежда надежнее тонкой, тут сомневаться не приходилось. Она была «за» и из соображений экономии. Жаркие месяцы прошлого года я провел в постели, и летних вещей мама мне просто не покупала, а из старых я вырос. Вообще я рос быстро: денег придется истратить много, и, возможно, все они будут выброшены на ветер. В общем, мама спасовала. «Только смотри, чтобы тебе не было жарко, – напутствовала она. – Это опасно. Ты же не собираешься там беситься, правда?» Мы озадаченно посмотрели друг на друга и пришли к молчаливому согласию: беситься я не буду.

Воображение рисовало ей картину жизни, какую я буду там вести – часто ее донимали мрачные предчувствия. Однажды ни с того ни с сего она сказала: «Постарайся ходить в церковь. Я не знаю, что они за люди, может, их в церковь не заманишь. А если и навешают храм Божий, небось катят туда в экипаже». На лицо ее упала тень, и я видел, что ей хочется поехать со мной, так ей было бы спокойнее.

Но мне этого совсем не хотелось. Как и любой школьник, я боялся: вдруг мама что-то не так сделает, что-то не так скажет, не так будет выглядеть в глазах одноклассников и их родителей. Растеряется, совершит какой-нибудь промах. Я готов снести унижение за свою оплошность, но за мамину...

День отъезда приближался, и чувства мои переменились. Теперь уже я пытался как-то отвертеться от поездки, а мама заставляла меня ехать. «Ты можешь написать, что я заболел корью», – упрасивал я. Она была в ужасе. «Я не могу этого написать, – с негодованием восклицала она. – К тому же они все поймут. Карантин кончился вчера». Сердце мое упало; я приду-

мал заклинание, стараясь вызвать пятна на груди, но ничего не вышло. В последний вечер мы с мамой сидели в гостиной на двугорбой кушетке, которая очертаниями напоминала верблюда. Воздух в комнате, выходявшей окнами на улицу, был немного застойный – мы редко ею пользовались и почти всегда держали окна закрытыми, потому что в сухую погоду любая повозка оставляла за собой облако пыли. По сути дела, эта комната была единственной нежилой в доме, и мама, наверное, выбрала ее для последнего разговора неслучайно – морально подготовить меня. Эта малознакомая комната поможет мне шагнуть навстречу тому незнакомому, с чем я неизбежно встречу в чужом доме. Видимо, мама хотела сказать мне нечто важное, но не сказала – я едва сдерживал слезы и все равно не внял бы практическим советам и нравоучениям.

## Глава 2

Воспоминания о Брандем-Холле, извлеченные из недр памяти, предстают перед моим мысленным взором в черно-белом изображении – это чередование светлых и темных пятен; мне стоит больших усилий увидеть их в цвете. Что-то я знаю, хотя и неизвестно откуда, что-то помню. Некоторые события запечатлелись в памяти, но к ним нет никаких зрительных образов; с другой стороны, перед глазами возникают видения, никак не увязанные с фактами, видения эти приходят вновь и вновь, словно пригрезившийся пейзаж.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.